

**ЗИНАИДА  
ГИППИУС**

КОМЕТА

# Зинаида Николаевна Гиппиус

## Комета

### Аннотация

«Детство, менее раннее, – менее мило. Оно яснее, ближе: образы не так волшебны и туманно-велики. Но, как и первое, изумленное сознание простых предметов мира в самом далеком детстве, с рук няньки, – поразительны и первые мысли дальше взора, первое ощущение вечной непонятности, удар о стену, которую мы, может быть, перейдем только после конца...»

# Содержание

I	4
II	8
III	15
IV	23
V	30
VI	33
VII	40
VIII	44

# Зинаида Гиппиус

## Комета

### I

Детство, менее раннее, – менее мило. Оно яснее, ближе: образы не так волшебны и туманно-велики. Но, как и первое, изумленное сознание простых предметов мира в самом далеком детстве, с рук няньки, – поразительны и первые мысли дальше взора, первое ощущение вечной непонятности, удар о стену, которую мы, может быть, перейдем только после конца. Хочу говорить теперь об этих первых непредметных чувствах и мыслях непервого детства. Мы их считаем не стоящими внимания, а они только страннее, необычнее, ближе к истинному – ведь они ближе к своему началу, чем мысли давно родившегося человека. Такой человек стоит на середине пути, ему равно далеки оба острия жизни, а мудрость только там. Я не знал этого в то время, и мне казалось, что между мной и взрослыми не должно быть особенной разницы. К тому же рос я один, без сверстников, и мать моя никогда не говорила со мною, как с ребенком, а как с человеком равным. Если я не понимал и спорил, она долго и серьезно объясняла мне и прибавляла: «Вот так мне самой кажется. Почему ты думаешь, что я ошиблась?»

Мы жили в большом провинциальном городе, с крутыми улицами и скверной, скверно называющейся, рекой. Дом наш был двухэтажный, кирпичный, с прозрачной балюстрадой на крыше. Этой балюстрадой я гордился и любил отходить от дома, гуляя, так, чтоб она была видна. Внизу жила хозяйка с сестрами. У хозяйки, старой и толстой, был рак на носу. Когда я увидел ее в первый раз, нос был обвязан и казался огромным, страшным. Потом мы пошли вниз на первый день Пасхи. Пахло сдобными крошками, ветчиной, сохнувшим сладким творогом и приторными польскими мазурками. А хозяйке к тому времени сделали операцию, и у нее был прехорошенький маленький носик, немного согнутый вниз, и только на переносице лежал кусочек легонькой ватки. Хозяйка мне казалась красавицей, и я думал о том, как она должна быть теперь счастлива.

Я, впрочем, тоже был счастлив, потому что мне подарили игрушечный зверинец, и в нем я полюбил коричневую, слегка мохнатую, сидячую обезьяну, которую я тотчас же отделил от прочих зверей, уложил в вату и вначале ласкал пальцем. Я знал, что я потом привыкну к ней – потому что она все-таки моя – и разлюблю, и это меня огорчало, – так мне было приятно любить ее. Я очень любил мать. Я так ее любил, что даже не видел ее лица, не знал, хороша ли она или дурна, и каждое ее свойство, каждая ее черта, казалось мне, были равно необходимы для моей любви. Но она тоже меня любила, целовала меня, говорила со мной, могла пустить

или не пустить гулять, подарить или не подарить игрушку, и я чувствовал, что люблю ее иногда за то, что она пускала гулять и дарила игрушку, чувствовал тоже, что это любовь «навечная» и была у меня еще тогда, когда я ни о чем не думал, пожалуй, еще раньше меня самого была – и потому любить мать казалось мне особенно обыкновенно и несколько не приятно.

Этой же, неприятной, любовью, хотя гораздо меньшей и с оттенком товарищества, я любил мою няню Полю. Полю я всегда помнил около себя. Она была кругленькая, молоденькая, низенького роста, с широким утиным носом, розовая, несмотря на веснушки, миловидная и веселая. Темные волосы вились легкими кольцами около ушей. Вот, я любил и Полю. Но Поля тоже была мне нужна, она играла со мной и надевала мне чулки, а обезьяна была, во-первых, новая, сразу взявшаяся, а, во-вторых, немая, не могущая явить мне ни благодарности, ни расположения, и я любил ее сам для себя, и в этом было что-то таинственное. Я не играл в обезьяну, днем я только сидел над нею, сладко томясь и не зная, что с нею делать, а вечером засыпал с радостным сознанием, что она у меня есть и что больше мне от нее ничего не нужно. Потом я стал отдаляться от обезьяны, находя, что я слишком часто смотрю на нее, а это тоже уж не то. Я по целым дням не открывал коробочки с ватой, где она лежала, и наслаждался только мыслью о ней. И никогда так сильно и приятно ее не любил, как в то время. Мне было больно разлюбить, забы-

вать любовь к обезьяне. Но в это время отец принес мне номер «Нивы». Там была картинка: озеро с нависшими ивами, лодка, и в лодке девушка в белом платье странного фасона. Мне понравилось и озеро, и девушка. Я унес картинку к себе.

## II

Мы сидели за обедом и ели рябчиков.

Отец мой (я его видел редко и относился к нему с равнодушием) только что вернулся из «Палаты» и о чем-то с оживлением рассказывал матери. Я никогда не слушал этих рассказов. Он говорил точно о не об общем, а о том, что казалось только его и могло быть понято им одним, а вовсе не всеми людьми. Я удивлялся, что мать слушает эти, ничего незначащие для нее слова. Я равнодушно болтал ногами и следил, как отец, в пылу разговора, и повторяя: «...А он в это время пишет ему: так-то и так-то...», – проводит вилкой быстро по скатерти, зубцы вилки цепляют скатерть и оставляют на ней чуть заметный шероховатый след.

Так как черную Машу, горничную, недавно рассчитали за грубость, то прислуживала Поля. Желтое ситцевое платье у нее шуршало, на груди топорщились оборки передника, покрасневшее лицо в веснушках выражало усердие. Я смотрел, как она поднесла блюдо к моему отцу и ждала, пока он долго присматривался и выбирал. Поля устала держать, и тяжелое блюдо слегка колебалось. Наконец, я увидел, как отец взял кусок. Кожа, прожаренная и сдернутая, слегка обнажала белое, нежное, как пух, мясо. Я еще поглядел на отца, на Полю, на рябчика, и вдруг такие смешные мысли пришли мне в голову, что я не удержался и усмехнулся громко. Отец

не любил, чтобы хохотали беспричинно, а я не любил с ним разговаривать, поэтому я поскорее закрыл рот рукою и сделал вид, что никуда не смотрю.

Но отец уже заметил и, обратившись ко мне, строго спросил:

– О чем ты?

У меня было большое желание сказать: «Так», или совсем ничего не сказать, но это представлялось невозможным. Мать говорила мне, что лгут только дети, и дурные дети притом, а что так как я никогда не лгу, то она и обращается со мною, как с равным. Единая же неправда могла превратить меня в ребенка, и мама перестала бы смотреть на меня, как на человека.

– Смешные мысли пришли в голову, – сказал я. Отец недовольно кашлянул.

– Какие же это такие мысли?

Хотя мне и не хотелось говорить с отцом, но в эту минуту я опять вспомнил свои мысли и засмеялся.

– Люди ошибаются, – сказал я. – Вот, мама мне рассказывала... Я не спорил тогда, но я уж видел, что оно не так. Я и прав, а она не права.

– Да в чем дело? – нетерпеливо крикнул отец.

– Что это ты кричишь, папа? Я и так скажу. Если ты мне не веришь, – прибавил я с достоинством, – то можешь у мамы спросить, она здесь. Только странно, если ты мне не веришь. Я не начинал разговора, но если ты хочешь знать, то вот: ма-

ма мне как-то объясняла, что все творения Божий равны. И хотя сразу видно, что они не равны, но это будто бы только кажется, а внутри все равны. И что Бог справедлив. А я смотрел, как все делается, и подумал: где же равны? Одно творение за столом сидит – это ты, папа; другое ему подает, служит – это Поля; а третье творение сжаренное, его едят – рябчик. Вот я и подумал: значит, неравны, потому что если б равны – то несправедливо. Я маме это хотел после, без тебя, сказать.

Мама рассердилась, к моему изумлению, больше отца.

Я хотел начать с ней спор, но она велела мне молчать. Я не обиделся, потому что правда была на моей стороне, только пожал плечами и, когда кончился обед, безмолвно пошел в гостиную, в угол к окну, и расположился там в кресле. Гостиная отделялась от залы деревянной аркой, но меня не было видно из моего угла. Я спокойно лежал и, уже забыв о равенстве и неравенстве, размышлял, почему с наступлением августа стали мимо нас возить все больше и больше гробов, что такое холера, и отчего люди боятся смерти и мертвецов? В прошлом месяце у нас умер кучер Андрей. Я ходил его посмотреть в дворницкую, и он мне очень понравился. Живой он был красный, слюнявый, почти всегда пьяный, с налитыми кровью глазами. Он вечно беспокоился, был недоволен и ругался хрипящими и рокочущими словами, которые все называли неприличными и которые ему самому были, очевидно, неприятны. Теперь же, умерший, он лежал белый и

спокойный, и такой красивый, каким еще никогда не бывал. На вид он казался необыкновенно довольным, и я порадовался за него. Что же касается до ада, куда Андрея будто бы пошлют, то этому я положительно не мог верить. Неужели Бог, который добрее всех людей, согласился мучить Андрея вечно за неприличные слова и за водку? Это бы и человек помучил да и простил. А не то что Бог. Бог сразу простит, это и говорить нечего.

Мои размышления были прерваны голосом отца, который из-за стола пришел с сигарой в залу, прогуливался там из угла в угол и спорил с матерью. Она, я знал, сидела на своем обычном месте, за рабочим столиком.

– Это совершенно невозможно, – говорил отец. – Ты из него сделала урода. Разве это ребенок? Ему нужно в бабки играть да порки бояться, а ты чуть с ним не на вы, рассуждаешь с ним Бог знает о чем, вбила ему в голову, что он человек, когда его от полу не видать, скоро бояться его станешь... Раскаешься, да поздно. Этого, друг мой, твоего философа да неженку товарищи в гимназии так дуть будут, что вряд ли у него голова на плечах останется. Книги ему все даешь читать, да еще объясняешь! Ну разве он может их понимать?

Мама что-то возразила, но тихо, и я не расслышал. Кстати сказать, я был вовсе не неженка, рос здоровым и крепким мальчиком, большим не по летам.

Отец, однако, еще говорил, я перестал было слушать, но вдруг новое слово привлекло мое внимание.

– Как хочешь, матушка, в пансион – так в пансион. Я, пожалуй, согласен, что в гимназию ему рано. Всякая перемена ему полезна. Твоя система воспитания мне кажется нелепой, извини меня, хотя я и дал слово не вмешиваться. Например, это убеждение, что такому малышу возможно всегда давать правдивые объяснения! Мало ли он о чем будет спрашивать! Нет, детям лгать надо! Не бойся, они всему верят.

– Вон оно что! – подумал я обиженный. – Лгать! Хорош большой человек! Никогда не стану с ним говорить.

– Не могу я этого, – отвечала мама. – Не стану перед ребенком унижаться. Что я знаю, то и он может знать. Нисколько он не глупее меня, только неопытнее. Ради этого я и учу, и объясняю, сколько умею. Но я готова сделать тебе уступку, я отдам его в пансион Артемьевой, моей подруги. Мы вместе учились в Москве, хотя она в старших классах была. Лидии Ивановне я доверяю, а Вите следует повидать людей, поучиться не одному.

– Еще не захочет он в пансион, упрасивать придется, – начал отец насмешливо.

Но тут я, устав подслушивать (ужасно это мне не нравилось), вышел из гостиной.

– Извините, папа, мама, – сказал я. – Я нечаянно слышал, что вы говорите. Я хотел выйти, но потом, не знаю как, остался и слушал. Отчего ты думаешь, папа, что я не захочу в пансион? Я маме доверяю, и если она хочет, то пусть я иду в пансион. Я тебя огорчил, что сравнил с рябчиком, но ты то-

же, папа, не прав передо мной. Потому что я не хочу тебя обманывать, а ты хочешь.

Папа хотел опять рассердиться и закричать, но мама в эту минуту притянула меня за рукав, поцеловала и сказала строго:

– Довольно разговоров и ссор. И ты не прав, ты подслушивал. Ступай к Поле, играй или читай. О пансионе мы поговорим.

Я тотчас же выбежал и не слышал больше слов отца. В детской Поли не было. Я лег на стол, подпер голову руками и, напевая, смотрел на улицу в окно. Там светило желтое солнце, бежали собаки, шли и ехали люди. Пронесли белый гроб, и он долго колебался над головами людей без шапок, а лучи солнца блестели в кистях. Я думал о пансионе, о маме, о Поле и о гладком глиняном кувшинчике, который Поля мне принесла вчера. Я полюбил кувшинчик, положил его в ямочку под подушку и радовался теперь мыслью, что он у меня есть. Я думал о том, какие люди счастливые и как хорошо им жить. С самого начала в раю ангельчиками, – это я знал твердо. Потом рождаются, растут, начинают вес видеть и понимать. Могут любить, как я маму и Полю, и их любят. Есть еще разные обезьянки, кувшины, картинки – их можно любить особенно, радоваться, что они далеко. Неприятно, правда, разлюбить, – но опять что-нибудь найдешь и полюбишь. А потом придет смерть, сделаешься спокойным, белым, красивым, и понесут тебя с почетом в блестящем гробе.

Бог простит, если делал нехорошо, и опять будешь в раю. И у меня даже в груди сжалось от радости, что я тоже человек, и тоже счастлив, как и все люди.

### III

В конце августа меня отдали в пансион. Это был пансион, собственно, для девочек, но в подготовительном классе было два мальчика, кроме меня: сын начальницы, Лидии Ивановны, – Вася, годом старше меня, высокий, ушастый, хитро и злобно улыбающийся, и затем сын нашего учителя танцев, запуганный и такой бледный мальчик, что у него даже веки были иссиня-прозрачные. Мне казалось совершенно безразличным, учусь ли я с девочками или с мальчиками. Девочек я не презирал, жалел только немного, что им трудно в юбках делать гимнастику. Многие же девочки мне казались хорошенькими и милыми, и учились они хорошо. Я скоро по русскому языку, арифметике, географии и Закону Божьему перешел из подготовительного во второй класс, где сидели девочки побольше и поумнее. Меня изумляло только, что каждый раз, когда какой-нибудь учитель ставил двойку, девочка начинала громко плакать, а учитель переправлял балл. Повторялось это чуть не всякий день и всегда точь-в-точь одинаково. Учитель был у нас один, кроме батюшки, но батюшка даже и не пытался никому ставить два. Я не получал двойки, потому что география и русский язык меня занимали, но твердо решил, если получу, не заплакать и промолчать. С Васей я обращался вежливо, но холодно. Когда же он вздумал драться, я побил его, потому что оказался сильнее.

Нас обоих наказали, то есть поставили по углам в комнате Лидии Ивановны, где было тепло, уютно и весело, потому что сама Лидия Ивановна пила тут же чай с какой-то своей знакомой и все время с ней болтала.

У Лидии Ивановны была длинная шея, толстый нос с бородавкой и желтые зубы. Но, хотя она походила на Васю, лицо ее, когда она улыбалась, мне нравилось, – такое было доброе. Вася помирился со мной и сказал, что он дерется с горя, потому что очень стыдно мужчине учиться в девичьем пансионе, и он страдает. Он прибавил, что все равно этого не перенесет и убежит. Мне стало его жалко, но горю его я сочувствовать не мог, потому что оно мне казалось вздором. Не все ли равно, где учиться, и не все ли равно, мальчишки или девочки? Я любил и тех, и других. Мальчишки еще хуже немного: они дерутся и, главное, ни с того ни с сего. Я не понимал, зачем драться, и не очень любил драться, хотя, если меня задевали, спуску не давал – это было только справедливо.

– Ты скажи, попробуй, кому-нибудь, что ты с девчонками учишься, – убеждал меня Вася. – Засмеют.

– Да что ж тут смешного?

– Уж этого не знаю, а только унизительно, и засмеет каждый. И побьет.

– Побьет, и я его побью.

– А коли он сильнее тебя?

– Пусть тогда бьет, только он все-таки будет не прав, а я

прав.

Вася озлобленно махал рукой и уходил от меня. С сыном учителя танцев я не говорил; он меня почему-то сильно боялся. В пансионе я был целый день. После обеда Лидия Ивановна брала меня к себе, сажала на колени, целовала, кормила фруктами и конфетами. Когда к ней приходили гости, она рассказывала им про мою мать, про то, как они вместе учились – хотя они, собственно, и не вместе учились, потому что Лидия Ивановна была гораздо старше моей матери, – и как она, Лидия Ивановна, любит мою мать и меня. Я чувствовал удовольствие и благодарность и мне хотелось самому любить добрую Лидию Ивановну.

Вечером за мной приходила моя Поля. Я кидался к ней со всех ног, потому что все-таки скучал в пансионе, а Поля была такая привычная, домашняя, пахла сметанными лепешками и кумачом, и, главное, вся была моя. Мне очень нравилось сознание, что Поля – моя, служит мне, любит меня, ухаживает за мной и должна меня слушаться. За то, что она моя, я особенно нежно любил Полю. Кроме того, мне казалось, что мы с ней во многом похожи: я слышал однажды, как мама спрашивала, почему она не шьет себе лиловое платье, которое она ей подарила к празднику и которое так в материи и лежит в ее сундуке. Поля отвечала, что ей материя очень нравится и что ей «жаль» шить из нее платье. И я подумал: вероятно, Поля любит свою материю, как я любил обезьянку и кувшинчик; мне стало совсем понятно, что она не может

сшить платье и носить его, пока не разлюбит. Я пытался даже говорить с Полей об этом, но она только смеялась.

– Что это вы, батюшка! Что она, человек – материя-то? Как я еще ее любить буду? Глупостей понавыдумаете! Красивая она очень, не по мне, так и жалею шить. Сошьешь, а надеть и некуда.

По таким уклончивым Полиным ответам я решил, что она, пожалуй, действительно любит материю, как я обезьяну любил, и только не хочет признаться, что я вполне оправдывал и понимал, потому что я и сам тщательно скрывал всегда свою любовь, пока она не проходила, и, кажется, умер бы от стыда, если б пришлось говорить о ней, хоть с матерью. Мать знала о моих увлечениях, и я твердо верил, что она понимает меня. Я просто говорил ей: а вот, мама, ты мне в прошлом году стадо подарила. Так я там корову Лукавку любил, белую, с красными пятнами. Только она к рукам липла от краски, оттого я ее разлюбил.

– А помнишь, – говорила мама, – ты любил черную голову у дедушки в кабинете, под стеклом? Я еще тебе все хотела сказать, с кого это вылито, а ты зажимал уши, а после оказалось, что ты ее любил.

– Ну, я был маленький тогда, – возражал я, искренно не понимая, как я мог любить некрасивую черную голову в капюшоне. Я знал теперь, что это бюст, вылитый из меди, и представляет он Савонаролу, который проповедовал посты и послушание, за что его и сожгли живым на костре. Мама

мне часто рассказывала про него, но он мне не нравился, и я радовался, что когда любил его черную голову, то не знал ни его имени, ни всей его истории.

Стояла осень, и дни были переменные: то шел дождь, то ветер рвал облака в клочья и обнажал зеленое, бледное, очень холодное небо. В один из таких вечеров, после дождя, мы шли с Полей из пансиона. Мне было грустно, потому что сегодня в классе учитель объяснял из географии широту, долготу и градусы, а я ничего не понимал. Даже девочки (я понемногу начинал думать, что они глупее мальчиков) поняли, а я не понимал, а когда учитель в конце сказал, что в сущности никакого экватора даже и нет, и чтобы мы не забывали, что это «воображаемые линии», то я почувствовал, что никогда ничего не пойму. Воображаемые? И наверно нет? Тогда зачем же это все? Если б сомневаться можно было, есть или нет, ну тогда пусть, тогда даже лучше. А то наверно нет. Не хочу воображать, если наверно.

Я думал так долго, что стал уже сомневаться, есть ли точно и все звезды, и такое ли большое солнце, как нас учили. Я очень любил узнавать все про звезды, и мне стало весело при мысли, что их, пожалуй, нет, и что это неизвестно. Но это может быть нет, а земной оси и меридианов наверно нет... и я с негодованием откинул всякие помышления о них.

Я заметил, что и Поля казалась скучной или сердитой. Губы она держала вперед, беспокойно мигала глазами и так рассеянно вела меня за руку, что мне приходилось часто

прыгать с тротуара и наткаться на фонарные столбы.

– Ну, что это с тобой? – сказал я капризно. – Мечтаешь! Не видишь, куда идешь! Чуть сейчас под лошадь не попали.

– Ничего не попали, а вы шалили бы меньше, вот что! – вдруг огрызнулась моя няня. – Сил нет никаких с этим ребенком. Что да что, да о чем думаешь? Ни о чем! Ничего со мной! Мало каких неприятностей, всего-то маленьким мальчиком и говорить – не перескажешь!

Я очень изумился непривычному тону Поли и несколько не обиделся, а взволновался. Вероятно, случилось что-нибудь очень плохое, потому что иначе она не стала бы так говорить со мною. Мы вошли на мост. Внизу лежала бурая, слегка разлившаяся от дождей, но все-таки мелкая, река, засоренная по краям, в грязных берегах. Зеленовато-красный закат сквозь черные, рваные тучи освещал ее холодно и уныло. Низкий, ледяной ветер дул сквозь перила моста.

– Скажи мне, пожалуйста, Поля, – начал я серьезно, – скажи, что случилось? Вероятно, готовится что-нибудь худое. Я ведь вижу, какое у тебя скучное лицо. Скажи, о чем ты думаешь? Слышала что-нибудь?

– Мало ли что я слышу? – отвечала Поля, хотя и нетерпеливо, но сдержаннее. – Бед-то на свете – не прибавлять.

– Нет, ты скажи, скажи! – молил я. – Что, например?

Поля точно задумалась на минуту, потом вдруг, с очень серьезным лицом, произнесла:

– Вот, например, комета. Я весь замер.

– Комета? Где комета? Какая?

– Ну, уж какая – не знаю. А только слышала, давеча папа с мамой говорили – явится комета. И будет по небу гулять каждый вечер, пока не пропадет.

В первую минуту я был так поражен, что не нашел слов, а когда наконец раскрыл рот для дальнейших вопросов, то невольно остановился и не сказал ничего. То, что я увидел, поразило меня новым удивлением. Лицо Поли, за секунду перед тем злое, встревоженное, неприятное, с выпяченными губами, вдруг сделалось совсем иным, и таким светлым, как будто тучи сразу разорвались перед заходящим солнцем, и луч упал на это лицо. Губы потемнели, ноздри расширились, и вся Поля сделалась другой Полей, которую я еще никогда не видел. Она улыбнулась и, не глядя, поклонилась кому-то. Когда я повернул голову, я заметил только удаляющуюся фигуру мужчины, в черном, с желтыми кантиками, пальто, надетом внакидку. Я хотел было спросить Полю, кому это она поклонилась, но вдруг раздумал и спросил неуверенно:

– А это худо, комета?

– Что? – спросила Поля. Она все еще улыбалась и смотрела мимо меня.

– Комета, я говорю, к худу?

– Какая комета? – так же рассеянно-ласково спросила Поля. И вдруг, спохватившись, стараясь хмурить брови, добавила: – Конечно, худо! Такие большие выросли, и этого даже не знаете! Худо, нехорошо!

Я всматривался в ее розовое лицо, не переставшее улыбаться, и спросил опять, с невольным сомнением:

– А может, и не очень худо, а? Не очень худо, Поля?

## IV

Целый вечер я был молчалив и скучен, и все хотел и не смел спросить маму о комете. Что касается Полиного лица, то, подумав об этом пристально, я понял, что и спрашивать нельзя, не о чем, потому что в сущности ничего и не было. И это казалось очень странным: было, а если представить себе, что спрашиваешь словами, то сразу ничего и нет.

И я стал думать только о комете. Прощаясь с мамой перед сном, я, наконец, решился и сказал:

– Мама, скажи, правда, что идет комета?

– Комета? Что, это вам учитель объяснял?

– Нет, не учитель... А какая она, мама, комета?

– Разве ты не знаешь? Ведь вы, кажется, проходили. Звезды с длинным, прозрачным хвостом...

И мама рассказала мне о комете. Сказала, что эта – возвращается через шестьдесят семь лет, что она очень большая и уже видна.

– Сегодня облачно, темно, – заключила мама, – а завтра, если будет хорошая погода, я тебя отпущу с Полей на улицу вечером – полюбуйся, коли так интересуешься.

– Мама, а вот говорят еще, что это не к добру...

– Это вздор, милый. Какое дело комете до нас и наших бед? Идет себе она своим путем, пройдет мимо и скроется. Кто верит, – пожалуй, тому и к худу, потому что ведь каж-

дому по его вере случается.

Я не понял и хотел спросить, почему это, но не спросил, решив сам сначала подумать, так ли оно. Но комета наполняла мою душу ужасом, которого я еще никогда не знал. И я не бед, ею предрекаемых, боялся, а ее самой. Поля раздела меня, говорила мне что-то, но я слушал плохо, занятый своими мыслями, и даже не взглянул, какое у нее теперь лицо. Долго не мог заснуть, а когда заснул, то мне снилось, что я лежу в своей постели без движения, с закрытыми глазами, и все-таки вижу, что в окно детской смотрит большая комета, близкая, страшная и светлая... Я знаю, что это к худу, и силюсь открыть глаза, и все-таки не могу... Утром страх прошел, на душе стало спокойнее, но комета была со мною, и я ни о чем не думал, кроме нее.

В этот день диктант мой оказался из рук вон плохим. Учитель, когда по обыкновению после урока окружили его, чтобы видеть, какие он ставит кому отметки, в графе против моего имени вывел два и остановился на минуту. Я посмотрел на мою двойку с равнодушным презрением и не подумал заплакать. Это удивило и даже смутило учителя. Он взглянул на меня с ожиданием, но я молчал. Мне было решительно все равно. Тогда учитель заторопился и сделал вид, что по моему горю все-таки прощает меня.

– Ну три, три с минусом, – бормотал он, перечеркивая клетку. – Зато уж вперед – чтобы... Стараться надо.

Я пожал плечами и отошел от стола.

Вечером, перед самым закатом, мы опять шли с Полей по мосту. Мои вечерние ужасы надвигались. Небо становилось все чище, облака медленно вытягивались и уходили, и я знал, что мама вечером, когда станет темно, пошлет меня смотреть комету. Комета непременно будет. А я не хочу и не могу ее видеть. Сказать же маме, как я отношусь к комете, мне было невозможно – не знаю, отчего. Но лучше умереть. Я шел и натыкался на столбы и тумбы, не видя дороги. Вдруг Полин голос, – и странный, певучий, носовой какой-то, – вывел меня из задумчивости. Я поднял глаза. Поля говорила не со мной. Она вела меня за руку, но не смотрела в мою сторону и точно совсем забыла обо мне. Рядом с ней шел тот самый высокий человек в черном пальто с желтыми кантами, которого мы встретили и вчера на мосту. Он говорил что-то Поле, наклоняясь к ней, потому что ее голова была ему едва по плечо, а у Поли было опять такое же странное, светлое лицо, как вчера. И опять это лицо мне не понравилось, как не нравился тягучий голос, которого я совсем не узнавал. Я пристально рассматривал Полиного знакомого. У него был нос граночками, не совсем круглый, очень открытые, выпуклые глаза, голубоватые, и губы треугольником, большие и чрезвычайно розовые. Я помню, что никогда не видал таких розовых губ, – не красные нисколько, а розовые, как шиповник, или еще у баб такие платья праздничные бывают. Губы эти шли сильно вперед, а на верхней рос беловатый пух, светлее кожи. Такой же пух был кое-где и на щеках, кото-

рые неприятно округлились, точно налитые. Заметив, что я на него так пристально смотрю, он приподнял фуражку и произнес, слегка улыбаясь:

– Очень приятно познакомиться.

– Это Мелентий Николаевич, Витенька, – заговорила Поля торопливо, обращаясь ко мне так же сладко, тем же неприятным, носовым голосом, каким говорила с Мелентием. – Они на телеграфе служат. Знаете, где мы с вами были, бабушке депешу отправляли, еще машинка стучала: тик-тик...

В последних словах Поли опять было что-то непривычное. Никогда она не говорила со мной так, точно с двухлетним младенцем. И я догадался, что она опять обо мне совсем не думает, как будто меня нет и не было.

– Вот, заходите еще когда-нибудь, – произнес Мелентий. – Я могу ленту показать. Весьма интересно для развитого человека.

Голос у Мелентия был довольно приятный, говорил он точно с легкой насмешкой.

Я ничего не ответил и продолжал следить за ним глазами. Он опять заговорил с Полей, и так тихо, что я, даже прислушиваясь, не мог ничего разобрать, особенно за стуком колес. Впрочем, я уловил слово «комета», произнесенное Полей вслед за словом «сегодня», и это сразу вернуло меня к моим страхам и сомненьям.

Мелентий простился с нами не у самого дома, а за углом.

Это мне показалось странным, но я ничего не сказал. Поля все время заговаривала со мной, но я отмалчивался: и свои дела меня тревожили, и от Поли было как-то обидно и беспокойно.

За чаем я молчал тоже. И голова болела немного, и ожидание измучило. Наконец мать сказала:

– Ты, Витя, хотел комету посмотреть. Из окон ее теперь, не видно, а вот пойдешь с Полей на двор, или по площади пройдешься – погода прекрасная. Ты здоров?

– Да, я здоров. Голова только болит.

– Ничего, еще лучше будет. Ступайте.

Поля торопливо и рассеянно стала меня одевать.

– Ночью-то гулять тоже опасно бывает, – говорила она быстро, не то смущенно, не то сердито. – Мазурики тоже бродят. Хорошо, коли кто встретится, проводить попросим...

Ночь была темная, ясная, и вверху, должно быть, все звезды казались крупными. В ту секунду, как я вышел на улицу и нечаянно увидел кусок темно-синего неба, я уже твердо знал, что буду делать. Я решил не смотреть на комету. Мне казалось, что если я ее не увижу, то она со мной ничего не сделает. И все силы мои были направлены на то, чтобы не увидеть ее как-нибудь нечаянно и чтобы при этом никто не заметил, что я на нее не смотрю.

Мы пересекли улицу и прошли за угол, на площадь.

– Смотрите, смотрите, Витенька, – говорила Поля. – Вон она какая, комета-то! Батюшки, полнеба хвостом-то покры-

ла! Звездочки сметет, ей-Богу! Нет, уж это знамение, тут и спориться нечего!

Я обратил лицо к небу и закрыл глаза. Мне казалось, что комета пронизывает лучами мои веки, но, вероятно, это был свет от фонаря, около которого мы стояли. Я знал, что стоит мне открыть глаза, и я увижу ее. И все будет кончено. Я употреблял великие усилия, чтобы не открыть глаз, и что-то стучало в голову и в грудь, – верно, сердце.

– Весьма интересно и ужасно, – проговорила Поля совсем другим голосом. Я скользнул взором по земле и тотчас же увидел около Полиной юбки высокие сапоги и полы черного распахнутого пальто. Я понял, что это опять Мелентий. Мы пошли все вместе. Мелентий громко рассуждал о комете, спросил меня о чем-то – я ему ответил, глядя вниз. Потом он стал говорить с Полей, а я слушал, как стучит сердце, и мучился, удерживая себя от взора наверх. На поворотах я совсем закрывал глаза и несколько раз чуть не упал. Когда я смотрел влево, на темные стены домов, мне все-таки казалось, что я вижу «ее» краем глаза, или уже видел, когда перевел взгляд. Подъезды и лестницы, казалось, отражали ее лучи. Тогда я думал в отчаянии, что все равно все кончено, что уж лучше я посмотрю прямо. Но в последнюю секунду решимость овладевала мной, и я даже рукой плотно прикрывал глаза, уже не заботясь, что заметит Поля. Она, впрочем, совершенно забыла обо мне.

Я вздохнул свободно на лестнице. Перед самой дверью

Поля вдруг остановилась.

– Вы, Витенька, лучше не говорите маме, что нас провожал Мелентий Николаевич. Это очень хорошо, что они нас провожали, потому что мало ли ночью на улицах... А только вы все-таки не говорите: мама еще подумают, что это мы из-за них так поздно прогуляли, а я, вот ей-Богу же, и ни сном ни духом не знала, да и что мне?..

Она остановилась. Я взглянул на нее с изумлением и сказал:

– Да мне все равно.

Я хотел прибавить, что он какой-то противный, Мелентий, – но удержался и прямо лрошел в детскую. Мама спросила меня, понравилась ли мне комета и где мы так долго пропадали.

Я сказал, что очень понравилась, и покраснел, потому что солгал.

## V

На другой день и на третий я не пошел в пансион: у меня болело горло. Верно, простудился тогда вечером. Небо опять заволоклось тучами, шел дождик, ночи стояли такие черные, что даже едва огни фонарей были видны из окон. Угловая комната выходила на площадь. Я сидел на подоконнике и смотрел на низкие, быстро бегущие тучи. Смеркалось, и небо еще посерело. Мне было скучно и гадко, и в теле был какой-то стыд, и я все думал и не мог решить, почему я – я. Много же людей, но все они – не я, а я именно я, а я – это совсем особенное... И только одно. Вот Поля, например: и похожа на меня была, и моя была, и я ее любил, и вдруг все изменилось. Я не знал, что именно изменилось; я чувствовал только, что мы с ней стали чужими и далекими, ненужными друг другу. И мне делалось злобно и досадно, когда я начинал думать об этом.

Кто-то тихо вошел в комнату. Я обернулся и увидел Полю. Она подходила с виновато-радостным лицом. Я хотел рассердиться, но она улыбалась, кивала мне головой и шептала: – Пожалуйте-ка сюда... Пожалуйте на минуточку...

Я слез с окна и пошел за нею. Папы и мамы не было дома. Сильно темнело, но огня нигде не зажигали. Поля с торжествующей и хитрой улыбкой вела меня по всем комнатам. Мы миновали переднюю и вошли в девичью. Навстречу,

из-за стола, покрытого белой скатертью и освещенного ярко стенной лампой, поднялась высокая фигура Мелентия. В стороне я увидел кухарку Степаниду и недавно нанятую горничную Феклушу, пожилую девушку.

– Мое почтение, – сказал Мелентий. – Слышал, что вы больны. Весьма неприятная история. Вот, я осмелился... из уважения к вашим успехам по учению... И как Пелагея Дмитриевна мне говорила, что вы обожаете писать... Позволю себе преподнести.

Мелентий протягивал мне тоненькую точеную ручку для пера, костяную, красную с белым. Ручка вся была из навинченных шишечек и лепешечек, то красных, то белых. Кроме нее, Мелентий держал еще тетрадь в бумажном переплете с золотыми выпуклыми разводами и с наклеенной овальной картинкой – розаном – посередине.

Я взял ручку и тетрадь, покраснел и сказал спасибо.

Вещи мне не нравились, а Мелентия и жалко не было, – я не любил его розовые треугольные губы. Но случайно я посмотрел на Полю: у нее было такое лицо, точно она хочет заплакать от страха, что мне не понравятся подарки, точно это для нее важнее всего на свете. Я бросился к ней, поцеловал ее, опять сказал «спасибо» и выбежал из девичьей, прижимая к груди тетрадку.

В зале было совсем темно. Я пробирался опять туда же, в угловую. Пробежав залу и гостиную, я пошел тише и медленно, думая о Поле, о том, какие у нее сейчас были глаза,

когда она смотрела на ручку и тетрадку, я подошел к окну и взглянул вверх. Там перед вечером ползали серые тучи, и я глядел, какие они низкие и тяжкие. Но теперь туч не было. Иссиня-черное небо, чистое и холодное, расстилалось перед окном. И прямо на меня с этого неба смотрела пышная и кроткая, бледно-золотая звезда. Полоса прозрачного, беловатого света, расширяясь и ослабевая, ниспадала от нее к горизонту, не прямо, а легко и воздушно округляясь. И сквозь это молочное, тонкое, как пар, покрывало видны были чуть-чуть другие, маленькие, мерцающие звезды.

До боли прижимая к груди тетрадку, я смотрел, не отрывая глаз, на комету. И чего я боялся? Зачем бежал и отвертывался от нее? Вон она какая, широкая, тихая... Нет в ней никакого худа, и не может быть. Милая, и далеко она как, я знаю, что далеко, а чувствую, точно она со мной... Я опять вспомнил Полю. Она плакала сейчас, боясь, что мне не понравятся Мелентьевы подарки. Мне захотелось на минуту, чтобы ей так же было хорошо, если это можно, как мне теперь. Я долго смотрел в глаза бледно-золотой звезде и плакал тоже.

## VI

Мать решила не посылать меня больше в пансион. Ей казалось, что это дурно влияет и на мой характер, и на здоровье. Я был рад. Целые вечера я проводил без огня, на окне в угловой, следя за кометой. Я знал, что она скоро уйдет, но не огорчился этим. Она уйдет, но она будет, – это только я перестану ее видеть. Я пока буду о ней думать, а потом она вернется. Через много лет, правда, но не все ли равно? Вернется – и опять уйдет, и опять вернется. Как это хорошо! Я не боялся, что разлюблю комету, как раньше многое разлюблял. Я знал, что ее – не разлюблю.

Только облачные ночи печалили меня. Они совсем напрасно отнимали у меня комету. Она была пока здесь, но невидная сквозь облачный слой.

Мама сказала мне, что Поля выходит замуж и что завтра будет обручение. Это поразило меня глубоко и казалось мне совершенно непонятным. Я забыл, как жалел и ее, и тетрадку с ручкой в тот вечер, когда в первый раз увидел комету. Опять это мне казалось противным и досадным, главное – Мелентий, за которого она и выходила замуж. Замуж! Это еще что? Ходила за мной, любила меня, вдруг явился какой-то Мелентий, и Поля, которая вечно была моя, скачет к этому мерзкому Мелентию. Я ревел от злости целое утро, уткнувшись в подушку. Я думал, что Поля, увидав мое рас-

стройство, откажется от Мелентия. Но она ходила за мной красная, смущенная, огорченная, всячески утешала меня, но и не подумала отказаться.

После завтрака пришла мать, а Поля куда-то исчезла. Мама села около моей постели и сказала серьезным голосом:

– Я думала, что ты разумнее, Витя. Я повернул к ней лицо.

– Да я уж не плачу. Ты, мама, извини. Только согласишься, что это гадко с ее стороны. Ну, я могу еще понять, ну пусть она любит Мелентия, но замуж-то к чему? Что это еще? Нет, мама, как ты себе хочешь, а Вася пансионский правду говорил, что все женщины, во-первых, злы, а во-вторых, глупы. Главное, я не могу понять...

– Чего же ты не можешь понять? – спросила мама спокойно.

– Да вот, зачем она непременно замуж?..

– Она любит Мелентия, ведь ты же знаешь... Я вскочил в волнении и сел на постели.

– Нет, послушай, мама. Объясни мне это раз навсегда. Как она его любит? Ведь все можно объяснить. Не любит же она его, как меня, или как я тебя. Мы с тобой всегда вместе, а Мелентий для нее вдруг взялся, вот как, помнишь, у меня обезьянка была, я обезьянку любил?

Тут я покраснел, потому что думал о комете.

– Или еще, – продолжал я тише, – черную голову любил... А потом мимо нас дама проезжала в своей коляске, шляпка темно-розовая... Помнишь? Часто проезжала. Потом еще

было... Так вот она Мелентия? Ну, а замуж-то зачем?

Мама немного подумала и наконец сказала:

– Витя, тебе лет немного, ты не вырос, отличаешься от взрослых и по себе их судить не можешь. Я тебе объясню, как сама понимаю, старайся вникнуть. Положим, Поля любит Мелентия, как ты любил и кувшинчик, и черную голову. Но только у взрослых к такой любви примешивается еще инстинкт, то есть бессознательное желание покоряться законам природы. Природа велела, чтобы животные и люди имели детей, которые будут жить после их смерти. И вот, взрослый человек или животное, у которых тело выросло и способно рождать детей, бессознательно стремится угодить природе. Поэтому Поля и хочет выйти замуж, то есть жить вместе с Мелентием, чтобы иметь детей, хотя, может быть, она об этом и не думает.

Я слушал, не сводя глаз с маминого лица.

– Мама, что ты говоришь!.. Так это для инстинкта? А любовь как же?

– Вот любовь и смешана... Это и есть любовь.

– Нет, мама. А как же, если любовь, то совсем не хочешь этот предмет или человека себе иметь? Только чтоб он был где-нибудь...

– Ты маленький, у тебя это иначе.

– Значит, мама, когда я вырасту, я уж не так буду любить, а как Поля? С инстинктом, и чтобы самому, чтобы себе иметь, поближе? И непременно другую женщину, чтобы детей? О

мама, как это плохо! Я не хочу вырасти! Пусть я буду всегда, как теперь...

– Этого нельзя. Теперь ты ребенок. Законов природы нельзя переменить, и если ты теперь и любишь, это природе не нужно. Это так, несерьезно, проба... Другие дети и совсем не любят такой любовью, как ты.

– Совсем? Пока вырастут? До инстинкта?

– Да, до того, что называют настоящей любовью...

Я замолчал. Мне было больно и страшно как никогда, но я не плакал. Я смотрел на маму, хотел спрашивать ее еще и еще, потому что я все-таки не понимал, но не спрашивал. Мне казалось, что она меня обидела. И не все ли равно? Она – взрослая, она думает и чувствует иначе; вон она мою любовь, потому только, что я не хочу ничего себе, называет несерьезной. Пусть я останусь совсем один. А взрослые пусть женятся, забирают себе, кого любят, покоряются законам природы... Пусть.

Я тихо опустил голову на подушку и закрыл глаза.

Мама еще что-то говорила мне, потом, думая, что я хочу уснуть, поцеловала меня в голову и вышла.

Вечером было Полино благословенье. В девичью набралось видимо-невидимо народу. Соседские горничные пришли в таких ярких платьях, что больно было смотреть. Девичью, большую комнату, осветили четырьмя лампами и еще свечами. Мелентий привел только одну свою родственницу, старую, с пристрашным лицом. Казалось, что она все время

смеется, а в сущности это у нее верхний клык был слишком длинен и ложился на нижнюю губу. Зеленое платье, шелковое, обшитое черными шнурами, противно шумело.

Принесли образа и к углу, вкось, положили коврик. На коврик стали рядом на колени Поля и Мелентий. Мелентий был в совсем новом, длинном, черном сюртуке, и подошвы сапогов, я видел, у него совсем чистые. Он и Поля вместе наклонили головы. Полина голова черненькая, с заложенной кренделем косой, а у Мелентия на стриженном беловатом пуху прыгали от свечей золотые искорки. Торчали большие розовые уши. Мне сзади было не видно, но все казалось, что он смеется. Полино лицо было серьезно и щека одна очень красная. Я заметил на Поле серое платье с широкими атласными полосами, то, которое она долго не хотела шить. Я горько усмехнулся про себя. Не хотела шить! Небось теперь сшила для Мелентия. Его любит. Все забыла. Ну и пусть любит, как ей приказано.

Благословляли образами многие, мама тоже. Это продолжалось не очень долго, Мелентий и Поля встали, коврик унесли, все заговорили сразу. Поля поцеловала родственницу Мелентия с зубом, и мне на минуту стало страшно за Полю. Потом все, громко разговаривая и смеясь, стали усаживаться за длинный стол, где были наставлены стаканы, бутылки и всякие угощения. Особенно близко от меня стояла тарелка с толстыми американскими орехами, которых я терпеть не мог. В углу на табурете я заметил скрипку, заверну-

тую в тряпку. Мне сказали, что будут потом танцевать.

У Поли щеки становились все краснее, и рот никак не мог не улыбаться. Мелентий сидел около нее и все что-то шептал ей на ухо. Мама взяла меня за руку и увела в комнаты, сказав, что мы только мешаем веселиться. Поля, взволнованная, выбежала за нами.

– Иди, иди, Поля, – сказала мать. – Я оденусь и уеду без тебя. Барина нет уже. Витя посидит в детской, а в свое время ты придешь уложить его спать.

Мама уехала в гости, я остался один. В девичью мне идти не хотелось. Я отдернул занавес и взлез на окно. Небо опять было чистое, очень далекое и очень холодное. Комета стояла низко, точно со стремительностью падая на землю. Расширяющаяся вверх полоса света казалась прозрачнее и торжественнее. Комета как бы летела ко мне, всегда оставаясь далеко. И мне чудилось, что я издали чувствую ее блестящий холод. Из-за плотно притворенных дверей, с другого конца дома, едва доносились ко мне оборванные, редкие, жалобно-тихие звуки скрипки, такие неслышные, что я не знал, когда они начинаются и когда прекращаются. Комета смотрела на меня, или я смотрел на нее, – это было одно и то же. Медленно она менялась, из бледно-золотой делалась кровавой, и опять светлела и кротко золотилась. Она казалась мне узлом всего, что есть на свете. Я не понимал, почему мне дано такое счастье – смотреть на нее, – и плакал от недоумения.

Поля пришла укладывать меня спать. Я улыбнулся ей

сквозь слезы и, когда она, укрывая меня одеялом, наклонилась ко мне, крепко обнял ее, прижался к ее горячему, радостному лицу. Она часто дышала, и дыхание приподнимало ее платье с атласными лиловыми полосами. Вся она была теплая, беспокойная, живая. Мы крепко поцеловались. Пряча лицо в подушки, я старался удержать уже другие слезы и все шептал про себя: бедная Поля! бедная!

## VII

Проходили дни. Комета удалялась от земли, бледнея, я знал, что ей нужно уйти надолго в непонятные пространства, и я радовался за нее, что она такая легкая и будет там, где я никогда не буду. Ведь я знал, что она вернется.

Она показалась мне сразу уменьшившейся, когда я увидел ее после двух облачных вечеров. Бледная, маленькая, она была мне еще милее. С ласковой, грустной радостью я прощался с нею. Пусть идет. Она все равно есть, только мои глаза не будут ее видеть, а потом она вернется.

Полю я несколько раз видел с заплаканными глазами. Она отвергивалась от меня, не хотела, чтоб я заметил. Я удивлялся, но ни разу не спросил, о чем она плакала. Когда мы с ней гуляли – в пансион я больше не ходил – она молчала все время. Мелентия мы не видели.

Целый день шел холодный дождь, иногда со снегом. Ветер и теперь, когда мы собрались к чаю, стучал в черные окна. Говорили, что наша река разлилась и через мост не ездят.

Я сидел молча и смотрел на огонь. Чаю мне не хотелось. Отец, по обыкновению, был сумрачен и курил толстую сигару. Мама перелистывала какую-то книжку. Я смотрел на мамино склоненное лицо, на короткий черный завиток около уха, на руку с тремя кольцами, свободными на безымянном пальце, и думал о том, что и завиток, и рука, и кольца мне

несказанно привычны, близки и милы, так близки, что и понять нельзя, а между тем все-таки она – не я, а один я – я, и могу я смотреть на нее, а не из нее, и в этом вся разница. Я понимал, что это так, но отчего так и что это значит – я не умел понять, тосковал и сердился.

Феклуша принесла кипящий самовар с живым белым паром над ним. В эту минуту из девичьей ясно послышался не то крик, не то сорвавшийся плач – и сразу смолк, точно дверь притворили. Я не узнал голоса, он был незнакомый и дикий.

Мама подняла голову.

– Что это? – тревожно спросила она Феклушу. Феклуша усмехнулась, показав некрасивые зубы.

– Пелагея ревет... Кому ж еще?

– Поля? Что такое?

– Письмо прислал, – шепнула Феклуша, видимо, стесняясь присутствием барина. – Окончательно отказывается и признается: женатый... А деньги, что взял у ей, отдать обещается впоследствии времени. Но, однако, чрезвычайная подлость. Обошел, как есть.

– Ну, довольно, – произнес отец, морщась и вставая.

В эту секунду крик опять повторился, но тише. И отец прибавил в дверях, обращаясь к маме:

– Ты хоть бы капель ей дала, что ли, матушка. Ведь неинтересны эти истерические вопли. И до кухонных трагедий мне дела мало.

Мама тотчас же встала и ушла, притворив двери. Я не

смел шевельнуться и, замирая от страха, соображал: Поля плачет. Мелентий обманывал ее, не любил и жениться не хотел, потому что женат. Денег хотел. А она его хотела, а он ушел... Как же теперь будет? Ушел...

Мама вернулась. У нее были тревожные и жалкие глаза.

Я тихонько спросил ее, так ли все, как я понял.

Мама сказала:

– Да. Очень жаль Полю. И как это мы раньше о нем не догадались разузнать? Простить себе не могу. И полюбится же эдакий молодец! Иди спать, Витя, – прибавила она вдруг серьезно. – Это, в сущности, тебя мало касается. Полю жалко, но она не глупая девушка: авось выбросит это из головы, успокоится. Ты, сделай милость, уж не трогай ее, не расспрашивай ни о чем.

Я послушно встал и пошел в детскую. Я деятельно желал, чтобы Поля не приходила сегодня ко мне, потому что всегда немного боялся людей, у которых сильное и острое горе. Я помнил, как в нашем доме умер дядя Володя. Дядя Володя казался мне приятным, ему было так спокойно и удобно, но тети Лизы я долго боялся: проходя мимо нее, закрывал глаза рукой. И не знал, жалости ли к ней боюсь, или ее самой.

Но Поля явилась. Я робко взглянул на нее. Она, к удивлению, показалась мне совсем спокойной: ни одна черта в лице не двигалась. Опухшие веки она не подняла. Она делала все, как обыкновенно, даже сказала мне что-то о моих ботинках, и я не заметил перемены в ее голосе. На секунду, как это

бывает, мне стало даже досадно, что я ее жалел напрасно, и большого горя никакого нет, но сейчас же я просто успокоился, сказал себе, что это хорошо, и заснул.

## VIII

Часы в столовой били раз, два... Я стал считать, насчитал десять ударов, вскочил и сел на постели. Десять часов! В окна смотрел мокрый, низкий свет осеннего дня. Что это значит? Я проспал до десяти часов, и никто не разбудил меня! Глубокая тишина царила в доме. Я прислушался, и мне стало страшно от тишины: такая она была нехорошая.

– Мама! Поля! – крикнул я слабо и сам испугался своего голоса, и спрятался с головой в одеяло. Пролежав несколько времени лицом к стене, я не выдержал, обернулся и опять закричал громче:

– Кто тут? Мама!

Послышался наконец стук двери, мелкие шаги, и в комнату вошла Феклуша.

Она молча налила воды в умывальник и поставила мои ботинки около постели.

– Феклуша, а Поля где? – спросил я, вдруг оцепенев от ужаса.

Феклуша не сразу ответила:

– Пошла белье на реку полоскать.

Она нередко ходила на плот, который был от нас близко, и я успокоился было. Но потом, раздумавшись, быстро спросил:

– А плот разве не затопило? А мама где?

– Мамаша сейчас придут, – ответила Феклуша и ушла. Я стал торопливо, кое-как, одеваться. Сердце билось и дрожало, и я бессмысленно повторял про себя: «Надо узнать... надо узнать...»

Не думая умываться, я уже решил бежать к маме, как вдруг в комнату вошла сама мама. Часы медленно и громко стали бить одиннадцать. Лицо у мамы было непривычное, на бледной щеке стояла слеза, руки дрожали. Не ожидая моего вопроса, она сказала:

– Витя, случилось большое несчастье. Поля утонула.

– Как, мама?..

Мама села в кресло, устало опустив руки.

– Она пошла сегодня утром полоскать белье. Ей говорили, что вода высокая, на плоту скользко и мокро... Феклуша и Анисья обе уверяют, что говорили. Но она все-таки пошла. Когда она упала, скоро заметили и вытащили, но она уже умерла. Доктор и теперь здесь, но помочь ей нельзя.

– Мама... что это? Как она? Она нечаянно? Совсем нечаянно упала? Мама!

– Не знаю, голубчик. Может быть, и нарочно. И не хочешь – а все думается, что нарочно, с горя. И как ее пустили!

– Мамочка, она совсем ничего вчера... Я не думал... К ней пойду, мама... Она там? Где? Да что это...

Я растерянно лепетал какие-то слова, цепляясь за мамино платье. Никакие силы не могли меня заставить поверить в эту минуту, что Поля точно умерла.

Мама молча взяла меня за руку и повела в девичью. Я дрожал и удерживался от дрожи. В душе было глубокое изумление.

Около постели в углу толпились женщины и тихо говорили. У окна какой-то господин, должно быть доктор, надевал сюртук. Женщины посторонились, и я увидел Полино тело. Голова ее лежала низко, без подушки. Тонкие, черные, мокрые волосы слиплись на лбу. Темный рот был раскрыт, остеклевшие глаза смотрели вперед бессмысленно и мучительно. В первый раз я видел мертвое лицо без спокойствия и тишины, и оно мне показалось безобразным, злым и страшным, как живое. Я отшатнулся назад и, забыв, что тут другие, вскрикнул:

– Мама! Это она нарочно, со зла, нарочно! Себе его непременно хотела, и вот, со зла! Мама, боюсь ее, боюсь ее!

Мама схватила меня молча за плечо и увела.

В столовой она сурово дала мне воды и произнесла:

– Приучайся сдерживаться, Витя. Не хорошо быть больным.

Я заплакал тихонько и сейчас же перестал. Глядя на маму, я успокаивался изо всех сил, только еще дрожал немного.

– Прости, мама, – сказал я. – Я знаю, но только это страшно и худо. Зачем она, мама? По ней я и увидел, что она худо сделала. Оттого, что не могла его себе иметь, да, мама? Как же это? А ты еще говорила, что это и есть настоящая любовь...

Я смотрел ей в глаза и ждал ее слов. Но мама ничего не ответила.

\* \* \*

Вечером я сидел на окне в своей комнате. Небо разъяснилось и смотрело на меня, холодное, черное и высокое. Звезды, золотые точки, вздрагивали наверху. Кометы больше не было видно. Я с усилием вглядывался в глубину, стараясь уловить последний след, последний знак, но не было ничего. Она ушла, легкая, туда, куда не доходят мои взоры. Но я знал, что она есть. Смутные чувства, не похожие ни на радость, ни на печаль, были на сердце. Ее нет теперь, но она придет, спокойная и верная. Надо ждать. Она придет.